

ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА ЕВРОПЕЙСКИХ БОРЦОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Каждый раз, когда я перечитываю эти письма обреченных на смерть людей, мне вспоминается один рассказ Льва Толстого, написанный великим писателем на склоне лет, в 1905 году, и носящий заглавие «Божеское и человеческое». Действие его происходит в России семидесятых годов прошлого столетия, «в самый разгар борьбы революционеров с правительством», и в нем с необычайной глубиной описаны последние дни кандидата Новороссийского университета Светлогуба, который благодаря своему патриотизму и благородному безрассудству оказался вовлеченным в политический заговор и был приговорен к смертной казни через повешение. Мы переживаем все, что переживает герой рассказа: неспособность юной, полной жизненных сил души понять смысл зачитанного приговора и поверить в то, что его уничтожат, что люди в самом деле приведут в исполнение произнесенные ими роковые слова; упреки, которыми он осыпает себя, думая о том, какое горе он причинит своей бедной матери; гордость, охватывающую его, несмотря ни на что, при мысли о стойкости и мужестве, которые он проявил, упорно отказываясь назвать имя человека, давшего ему найденный при обыске динамит. Мы переживаем все это и еще многое другое: его мучительные мысли о том, что такое смерть, и о том, что будет затем; тошноту, которую он испытывает, когда его приводят на место казни и взору его вдруг открываются столбы с перекладиной и слегка раскачиваемая ветром веревка; его последние встречи с людьми на помосте: со священником, с палачом... Все это великий знаток человеческой души делает нашим достоянием, и приходится только удивляться, как много подтверждений безошибочности его психологического чутья можно найти в тех подлинных документах, которые мы предлагаем сейчас вниманию читателей.

«Милая, родная! — пишет своей матери юный Светлогуб, и по щекам его текут слезы. — Прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу: прости меня... Не тужи обо мне... Немного раньше, немного позже... разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них, ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня... Прости им, они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокаивают меня. Прости, целую твои милые, сморщенные, старые руки!» — «Я плачу», — добавляет он, после того как «две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней», — я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и оттого, что люблю тебя... Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее».

«Прости меня, милая мамочка, — писал в ноябре 1942 года, за несколько часов до своей казни, австрийский борец сопротивления Миттендорфер, — за то, что я вынужден причинить тебе эту боль. Я часто раздумываю над тем, было ли все это необходимо и не должен ли был я поступить иначе, но я прихожу к выводу: нет, иначе поступить я не мог... Я не раскаиваюсь, — в жизни своей я шел прямой и честной дорогой, и таким же я умираю теперь. Милая мамочка, я знаю, каким тяжелым ударом явится для тебя моя смерть, мне понятны муки матери, хоронящей свое дитя, которому она отдала столько любви и забот, часов, дней и ночей... Что же делать? Так уж, видно, повелось, что дети приносят заботы родителям. Малышами они приносят малые заботы, но чем больше они вырастают, тем больше растут и эти заботы... Мне не пришлось, милая мамочка, еще раз повидать тебя, но я по-прежнему вижу твое лицо и чувствую тебя близко-близко от себя. С мыслью о тебе расстанусь я с миром. Благодарю еще раз за добро и любовь, которые ты дарила мне, и прошу тебя только об одном: будь, ради меня, и дальше такой же мужественной и сильной...»

Мы восхищаемся искусством, когда оно умеет говорить языком жизни. Но нас еще больше захватывает жизнь, когда она, сама того не зная, говорит языком подлинного искусства.

И по-французски все это звучит так же, когда Фернанда Вольраль из Шарлеруа пишет: «Ma petite Maman, je vous demande pardon à tous de vous causer de la peine, mais je sais que vous me pardonnerez. La cause que je défends est juste, elle est sacrée. Que mes camarades sachent que je n'ai jamais douté de son triomphe... Mes anciennes compagnes de prison viendront certainement prendre de mes nouvelles. Tu leur diras que j'ai su accepter mon sort avec calme et que je me suis montrée digne jusqu'à la fin...»¹

Digne jusqu'à la fin...² Один из них даже просит отца быть достойным своего сына и не поддаваться горю. Другой выражает надежду, что его собственный сын, когда вырастет, будет достоин своего отца. И все снова и снова повторяется мысль: «Прощайте, и да будет каждый из вас достоин меня!» — «На все вопросы о том, как откуда он приобрел динамит, Светлогуб отказался отвечать», — пишет Толстой, и так вели себя они все в Европе 1943 года, как и за семьдесят лет до того те люди в России. Многих из них долго, зверски пытали, чтобы заставить их заговорить, но они молчали, и сердца их наполнялись гордостью, ибо мысль о том, что они выдержали страшное испытание и память о них сохранится навсегда, облегчает муки смерти.

«Дорогой папа, дорогая мамочка, — пишет девятнадцатилетний Ги Жак, расстрелянный в Льеже в 1944 году, — на допросе в комендатуре меня пытались заставить говорить. Меня избивали, привязав к столу. Удары сыпались градом. Ни разу, ни разу не вырвалось у меня ни одно имя. Я мог бы спасти свою жизнь, но я не хотел изменять родине ни словом, ни делом. Теперь вам станет ясно, что у меня хватит мужества пойти на расстрел. Это, впрочем, мелочь по сравнению с тем, что мне

¹ «Милая мамочка, я прошу у всех вас прощения за то, что причинила вам горе, и я знаю, что вы простите меня. Дело, за которое я сражаюсь, — это справедливое, святое дело. Пусть друзья мои знают, что я никогда не сомневалась в его победе... Мои старые товарищи по заключению, несомненно, придут справиться обо мне. И ты скажешь им, что я встретила свою судьбу с душевным спокойствием и сумела хранить достоинство до самого конца...» (франц.).

² Хранить достоинство до самого конца... (франц.).

пришлось вынести. Многие будут мне благодарны за то, что я не назвал их имен. И теперь я могу гордиться собою, ибо я выстоял и спас не одну жизнь». Затем подпись: «Ги Жак, до конца оставшийся бельгийцем, умерший за родину». И словно потому, что героическое не может обойтись без трогательно-смешного, — правдоподобия ради, и сам Толстой мог бы украсить таким образом историю своего мученика, — юноша, уже подписавшись, вновь берется за перо и настойчиво повторяет: «Еще одно последнее слово. Хочу сказать вам, что, несмотря на многочисленные удары плетью, которыми хотели заставить меня заговорить, я ни на кого не донес, никого не обвинил. Много раз имел я возможность спасти свою жизнь. Но я предпочел смерть измене. И вот я умираю как честный человек, гордый самим собою. Ги Жак». Главным источником их стойкости является вера, которой они гордятся и которая вовсе необязательно носит религиозный характер в собственном, узком смысле слова. Некоторые из них набожны. Порою это полушутливая набожность, — например, они обещают обеспечить своим родным «хорошее местечко на небесах». Порою же они видят в религии и хорошее средство утешения для других, в котором сами они не нуждаются, и советуют своим близким: «Молитесь за нас. Это вам поможет». Автор одного письма просто и убежденно говорит о встрече на небесах: «Nous nous retrouverons tous les quatre, bientôt, au ciel»³. Прекраснейшее свидетельство истинной христианско-католической веры дает нам немец Герман Ланге, капеллан, в своем письме, посланном родителям перед казнью: «Если вы спросите меня, каково мне сейчас, я смогу ответить только так: во-первых, я радостно взволнован, во-вторых, я полон великого ожидания. Отныне для меня не существует никаких горестей, никакой скорби земной, — «и отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Сколько утешения, сколько чудесной силы проистекает из веры в Христа, в смерти своей опередившего нас. В него я верил всегда, но сегодня вера эта стала еще крепче, и я не посрамлю себя... Что может еще случиться с сыном Божьим, чего еще мне следует бояться?.. Глядите, смерть не может разорвать узы любви, нас соединяющие. Вы будете вспоминать обо мне в молитвах своих, и никакие границы во времени и в пространстве не помешают мне всегда быть с вами...»

«Всегда быть с вами...» Эта мысль пронизывает и письма тех, кто безразлично, либо вовсе отрицательно относится к религии и заявляет, как уже упомянутая мною Фернанда, в свой последний час: «J'ai gardé toujours mes convictions, je suis toujours restée athée»⁴. Как ни странно это прозвучит, создается впечатление, что именно те, кто не говорит о Боге и загробной жизни, находят наиболее высокие, задушевные и поэтичные слова для выражения идеи посмертного существования. «Сегодня, в этот майский день, я умру. Нас четверо в камере, и мы ждем часа прощания... Я буду с вами, буду среди вас, вместе с вами буду сидеть на садовом скамейке, дух мой всегда будет с вами... Вам буду я улыбаться с приходом утренней зари, вас буду целовать в вечерние сумерки. Пусть, любовь, а не ненависть владеет миром... Я только маленькая частица бытия, имя мое будет скоро забыто, но мысли, жизнь, чувства, меня наполнявшие, будут продолжать жить. Ты будешь встречать их повсюду — на деревьях весенней порою, в людях на пути твоём, в чьей-нибудь мимолетной доброй улыбке.

³ «Все четверо мы скоро встретимся на небесах» (франц.).

⁴ «Я всегда оставалась верна своим убеждениям и никогда не верила в Бога» (франц.).

Ты встретишься с тем, что было для меня дорого, ты будешь это любить и не забудешь меня». — «Я буду расти и зреть, буду жить в вас, чьи сердца я завоевал, и вы тоже продолжите свою жизнь, ибо будете знать, что я впереди, а не позади вас, как, может быть, ты был склонен думать... Я не стар, мне еще рано умирать, и однако все кажется мне таким простым, само собой разумеющимся. И только внезапность ухода пугает меня на первых порах. Времени мало, а мыслей много. Душа моя, сам не знаю почему, спокойна...»

Одно из этих писем написано молодым чехом, другое — датским партизаном. А дополнением к ним служит следующий образ, нарисованный одним молодым французом, расстрелянным гестаповцами без суда и следствия после страшных пыток, образ, глубоко запавший мне в душу: «Comme je n'ai pas de religion, je n'ai pas sombré dans la méditation de la mort, je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terrain dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française en qui je mets tout mon espoir...»⁵

Он явно ошибается, этот молодой француз, говоря: «comme je n'ai pas de religion»⁶. Ведь там, где любовь, вера и надежда, — там и религия. «Победа или мученичество, — говорит у Толстого самому себе Светлогуб, — а если и мученичество, то мученичество это та же победа, но только в будущем». Все они верят в будущее, эти смертники; они не могут не верить, что их жертвенная смерть оплодотворит будущее, что именно затем — «pour faire du terreau»⁷ сходят они в могилу столь молодыми. «Знаешь, папа, ведь это прекрасно — умереть в надежде на лучшее будущее всего человечества!» — «Je crois qu'après cette guerre une vie de bonheur va commencer»⁸. Эта мысль повторяется снова и снова, и сердце сжимается, когда подумаешь о том, во что превратилась «победа в будущем», что случилось с верой и надеждой этой молодежи, в каком мире мы теперь живем.

Мы живем в мире злейшей реакции, сочетающей суеверную ненависть и нетерпимость с паническим страхом. Мы живем в мире, которому, несмотря на его интеллектуальную и моральную неполноценность, судьба доверила оружие страшнейшей разрушительной силы, и это оружие накапливают безумцы, грозящие, «если уж на то пошло», превратить землю в окутанную ядовитыми парами пустыню. Духовный упадок, загнивание культуры, равнодушие к злодеяниям юстиции, поставившей себя на службу политике, самоуправство чинуш, безрассудное стяжательство, отмирание понятий «преданность» и «вера», — все это, порожденное и, во всяком случае, стимулированное двумя мировыми войнами, плохое средство для предотвращения третьей войны, которая была бы равнозначна гибели цивилизации. Роковое стечение исторических обстоятельств подтачивает демократию и толкает ее в объятия фашизма; можно подумать, что она нанесла ему поражение для того только, чтобы помочь поверженному вновь подняться на ноги, для того только, чтобы топтать ростки добра повсюду, где их можно найти, и покрывать себя позором бесчестных союзов. Так

⁵ Я не религиозен и не предавался размышлениям о смерти. Я кажусь себе чем-то вроде листа, который падает с дерева, чтобы превратиться в перегной. Качества почвы будут зависеть от того, каковы листья. Мне хочется сказать несколько слов о французской молодежи, на которую я возлагаю все свои надежды...» (франц.).

⁶ «Я не религиозен» (франц.).

⁷ «Чтобы превратиться в перегной» (франц.).

⁸ «Я уверен, что после этой войны начнется счастливая жизнь» (франц.).

неужели же вера, чаяния и готовность к самопожертвованию европейской молодежи, носившей чудесное имя «*Résistance*», интернационально-единодушное сопротивление надругательству над их странами, позору подчинения Европы Гитлеру, страшной угрозе завоевания Гитлером всего мира, — неужели эти устремления молодежи, которая, однако, мечтала о чем-то большем, нежели об одном только сопротивлении, чувствовала себя провозвестником лучшего человеческого общества, отвергнуты жизнью и оказались напрасными? Как напрасны, ни к чему их мечты и их смерть? Этого не может быть. Еще не было такого случая, чтобы идея, за которую с чистым сердцем боролись, страдали и умирали люди, — погибла. Такие идеи всегда осуществлялись. И пусть даже они носили на себе грязные следы действительности, но жизнь их завоевывала. Только девятнадцатилетний юноша мог наивно полагать, «*qu'après cette guerre une vie de bonheur va commencer*»⁹. Земля наша — не обитель счастья и нравственной чистоты, и меньше всего она может стать ею благодаря войне, пусть даже самой справедливой и необходимой. Но стремление приблизить жизнь человеческую к доброму и разумному, ко всему, что продиктовано духом, дано нам свыше, и никакой скепсис не в состоянии лишить эту задачу ее злободневности, как нельзя укрыться от нее ни в каком квиетизме. Она жива, эта задача, несмотря на все поражения, вопреки им. В этих прощальных письмах христиане и атеисты сошлись в общей для них вере в посмертное существование, приносящей успокоение их душам. «Я всегда буду с вами». «Жизнь и чувства, меня наполнявшие, не умрут». «Я буду расти и зреть, буду жить в вас...» Можно ли сомневаться в этом? Можно ли думать, что люди напрасно сражались за свободу в Испании, а затем во всех странах Европы, в которых были написаны эти письма? Будущее вберет в себя и поведет с собою эти принесенные в жертву жизни, в нем они будут «расти и зреть». А этой книге, книге-памятнику, могли бы послужить эпиграфом слова, которые один француз, молодой рабочий, написал в феврале 1944 года за несколько часов до казни: «*J'espère que le souvenir de mes camarades et le mien ne sera pas oublié, car il doit être mémorable*»¹⁰.

1954

⁹ «Что после этой войны начнется счастливая жизнь» (франц.).

¹⁰ «Я надеюсь, что моих товарищей и меня не забудут, ибо нас должны помнить» (франц.).